ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ
ИСТОРІИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

ДВѢСТИ-ТРИДЦАТЬ-ВТОРОЙ ТОМЪ

СОРОКОВОЙ ГОДЪ

ТОМЪ II

#3-4

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
Васильевскій Островъ, 5-я линія,
№ 28.

Экспедиція журнала:
Вас. Остр., Академич. переулокъ,
№ 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1905

СОДЕРЖАНІЕ
ВТОРОГО ТОМА

Мартъ — Апрѣль, 1905.

Книга третья. — Мартъ.

стр.

Мои замѣтки.—Лѣто 1900—іюнь 1904 г.—Окончаніе.—А. Н. ПЫПИНА . . . 5

По совѣсти.—Романъ изъ помѣщичьей жизни нашего времени.—V-XI.—А. НОВИКОВА . . . 59

Александръ I и Наполеонъ I.—Послѣдніе годы ихъ дружбы и союза.—IV-VI.—Ѳ. Ѳ. МАРТЕНСА . . . 110

Изъ моихъ воспоминаній.—1843—1860 г.г.—V-X.—ЕК. ЮНГЕ . . . 138

Женщина съ вѣеромъ.—Романъ.—Rob. Hitchens, The Woman with the fan.—I—VI.—Съ англ. З. В. . . . 190

Гермесъ Трижды-Великій, „соперникъ христіанства".—VIII-XIII.—Окончаніе.—Ѳ. Ф. ЗѢЛИНСКАГО . . . 244

На вѣткѣ.—Эскизъ по роману: „Sur la branche", par Pierre de Coulevain.—V-VII.—Окончаніе.—Съ франц. О. Ч. . . . 272

Еврейскія колоніи въ Аргентинѣ. — По личнымъ наблюденіямъ. —Н. А. КРЮКОВА . . . 318

Хроника.—Тяжелые уроки...—Л. З. СЛОНИМСКАГО . . . 341

Внутреннее Обозрѣніе.—Высочайшій манифестъ 4-го февраля.—„Политика довѣрія" и „политика порядка".—Газетный призывъ къ репрессіямъ и казнямъ.—Мнимыя послѣдствія „уступокъ". — Мнимо-счастливая эпоха.—Идея земскаго собора; ея несвоевременность или своевременность, неосуществимость или осуществимость.—Положенія комитета министровъ по вопросамъ о земскомъ и городскомъ самоуправленіи, о печати, о вѣротерпимости.—Коммиссія Н. В. Шидловскаго.—Записки по рабочему вопросу . . . 353

Записка четырнадцати редакцій и отвѣтъ на нее двухъ членовъ Особаго Совѣщанія по дѣламъ печати. — К. К. АРСЕНЬЕВА и М. М. СТАСЮЛЕВИЧА . . . 372

Иностранное Обозрѣніе.—Вопросъ о мирѣ и военныя дѣйствія.—Положеніе дѣлъ на театрѣ войны.—Международная коммиссія по поводу инцидента въ Сѣверномъ морѣ и ея заключительные выводы.—Странныя газетныя сообщенія.—Засѣданія британскаго парламента.—Торговые договоры и русско-германскій протекціонизмъ . . . 375

Литературное Обозрѣніе.—I. Богдановичъ, Т., Очерки изъ прошлаго и настоящаго Японіи. — II. Русская печать и цензура въ прошломъ и настоящемъ, В. Розенберга и В. Якушкина. — III. Л. Сулержицкій, Въ Америку съ духоборами. — IV. А. Пановъ, Сахалинъ, какъ колонія. — V. Вс. Чешихинъ, Гамерлингъ, характеристика. — ЕВГ. Л. — VI. И. Озеровъ, Экономическая Россія. — VII. Сочиненія К. Родбертусъ-Ягецова, вып. I.—В. В.—VIII. Проф. М. Грушевскій, Очеркъ исторіи украинскаго народа.—И. ЖИТЕЦКАГО.—Новыя книги и брошюры . . . 390

Новости Иностранной Литературы.—I. S. Lublinski, „Die Bilanz der Moderne". —II. Max Dreyer, „Die Siebzehnjährigen", Schauspiel.—З. В. . . . 426

Изъ Общественной Хроники. — Высочайшіе манифестъ, рескриптъ и указъ 18-го февраля.—Ожиданія и надежды.—Журналы комитета министровъ объ „исключительныхъ законоположеніяхъ" и о вѣротерпимости.—Пріостановка занятій въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.—Рабочій вопросъ въ настоящемъ и ближайшемъ прошломъ. — Н. А. Карышевъ и П. О. Бобровскій † . . . 439

Извѣщенія.—Отъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ о преміяхъ имени М. И. Михельсона . . . 454

Библіографическій Листокъ.—Жизнь и труды М. П. Погодина, Николая Барсукова, кн. XIX. — Русскіе портреты XVIII и XIX столѣтій (1762—1825 гг.). — Кустарное дѣло въ Россіи, кн. Ѳ. С. Голицына, т. I.—Сенатскій Архивъ, т. XI.

Объявленія.—I-IV; I-XII.

Книга четвертая. — Апрѣль.

стр.

Мой дневникъ на войнѣ 1877—78 г.г.—1877-ой годъ.—I: 18 апрѣля—9 іюля.— М. А. ГАЗЕНКАМПФА 457

По совѣсти. — Романъ изъ помѣщичьей жизни нашего времени. — XII-XVIII.— А. НОВИКОВА 506

Александръ I и Наполеонъ I.—Послѣдніе годы ихъ дружбы и союза.—VII-XII. —Окончаніе.—Ө. Ө. МАРТЕНСА 562

Графиня А. А. Толстая.—Личныя впечатлѣнія и воспоминанія.—ИВ. ЗАХАРЬИНА (ЯКУНИНА). 615

Женщина съ вѣеромъ.—Романъ.—Rob. Hitchens, The Woman with the fan.— VII-XI.—Съ англ. З. В. 643

Этюды о байронизмѣ. — Часть вторая: Польская литературы. — АЛЕКСѢЯ ВЕСЕЛОВСКАГО. 695

Два эрота. — Эскизъ. — W. Weigand, Der zwiefache Eros, Novelle. — I-V. — Съ нѣм. О. Ч. 731

Изъ моихъ воспоминаній. — 1843—1860 г.г.—XI-XIV.—ЕК. ЮНГЕ. 763

Хроника. — Внутреннее Обозрѣніе. — Главный вопросъ дня.—Составъ и задача совѣщанія, образованнаго на основаніи Высочайшаго рескрипта 18-го февраля.—Различные взгляды на способъ организаціи перваго представительнаго собранія: проекты барона П. Л. Корфа, г. Н. З. и В. Д. Кузьмина-Караваева.— Переходный порядокъ или сразу всеобщая, равная и прямая подача голосовъ?—Будущая судьба фабричной инспекціи.—Законопроекты по рабочему вопросу 795

Первый шагъ рабочаго законодательства въ Болгаріи.—Письмо въ Редакцію.— Н. КУЛЯБКО-КОРЕЦКАГО 814

Иностранное Обозрѣніе.—Мукденская катастрофа и ея значеніе.—Дѣятельность генерала Куропаткина и его штаба.—Вопросъ о продолженіи войны.— Особенности газетнаго патріотизма.—Сообщенія относительно предпріятій на р. Ялу. — Недоумѣнія и вопросы. — Наши финансы и заграничные кредиторы.—Предложеніе издателю „Times" 829

Литературное Обозрѣніе. — I. Н. П. Загоскинъ, Исторія Имп. Казанскаго Университета, въ 3 том. 1804—1904 г.г. — Его же, За сто лѣтъ. Біограф. Словарь профессоровъ Казан. Университета. 1804—1904 г.г.—II. Д. Нагуевскій, Профессоръ Францъ Броннеръ.—III. Въ защиту слова. Сборникъ. — IV. Сборникъ Товарищества „Знаніе", кн. III. — V. Сенатскій Архивъ, т. XI. — VI. Александра Ефименко, Южная Русь, т. I. — VII. Статьи по славяновѣдѣнію, вып. 1.—ЕВГ. Л.—VIII. Война и наши финансы, П. П. Мигулина.—В. В.—Новыя книги и брошюры 843

Новости Иностранной Литературы. — I. R. Beer-Hofmann, Der Graf v. Charolais.—З. В.—II. La Pologne et la crise russe: 1. Lettre d'un Polonais à un Ministre russe. 2. Observations politiques à propos de la lettre d'un Polonais à un Ministre russe.—Л. С. 876

Изъ Общественной Хроники. — Правительственное сообщеніе 18-го марта.— Имѣется ли на лицо periculum in mora? — Необходимость образованія политическихъ партій. — „Правый флангъ монархической партіи", поддѣльный и настоящій.—Дальнѣйшіе оттѣнки мнѣній.—Резолюція съѣзда журналистовъ.—Уличные безпорядки въ Псковѣ.—Совѣщаніе о печати.— Царство Польское и Финляндія 889

Библіографическій Листокъ.—Н. Н. Ге, его жизнь, произведенія и переписка, В. В. Стасова. — Корея—„запретная" страна, В. Алова. — Система русскаго гражданскаго права, К. Анненкова. — Вопросы начальной школы, Е. Чебышевой-Дмитріевой.—Курсъ двойной бухгалтеріи, С. М. Бараца. —Справочная книга для путешественниковъ, Ю. Шокальскаго, проф. К. Богдановича и др.

Объявленія.—I-IV; I-XII стр.

ИЗЪ МОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ

1843—1860 гг.

XI *).

> Il existe entre l'honnêteté et l'intelligence un lien d'origine auguste et d'essence immortelle.
>
> *Louis Blanc.*

Несмотря на то, что эту весну (1858-го года) я была поглощена своей привязанностью къ К., —я оставалась чувствительна и къ другимъ крупнымъ событіямъ моей жизни,—а такимъ событіемъ былъ пріѣздъ Шевченка, нашего долго жданнаго Тараса Григорьевича. Отецъ поѣхалъ встрѣчать его на станцію желѣзной дороги, а мы остались дома и съ замираніемъ сердца поджидали, смотрѣли въ окошко и, какъ всегда бываетъ, просмотрѣли, такъ что возгласъ кого-то: „пріѣхали!“ засталъ насъ врасплохъ; мы не успѣли выбѣжать на встрѣчу,—Т. Гр. уже вошелъ въ залу. Средняго роста, скорѣе полный, чѣмъ худой, съ окладистой бородою, съ добрыми, полными слезъ глазами, онъ простеръ къ намъ свои объятія. Всѣ мы были подъ вліяніемъ такой полной, такой свѣтлой, такой трогательной радости! Всѣ обни-

*) См. выше: мартъ, стр. 138.

мались, плакали, смѣялись, а онъ могъ только повторять: „Серденьки мои! други мои!“—и крѣпко прижималъ насъ къ своему сердцу...

Черезъ нѣсколько дней у насъ былъ обѣдъ въ честь Шевченка, на которомъ присутствовали, кромѣ нашихъ общихъ друзей, еще многіе его земляки-малороссы, между прочими и Марковичъ (Марко Вовчекъ); говорилось много искреннихъ и трогательныхъ рѣчей; говорилъ и отецъ мой; Шевченко былъ такъ растроганъ, что не могъ кончить своей рѣчи отъ слезъ; но это чествованіе не могло изгладить впечатлѣнія той первой встрѣчи, порывистой, радостной, любовной, которая связала насъ крѣпкою, неразрывною дружбой.

Я говорила о Шевченкѣ въ другомъ мѣстѣ („Вѣстникъ Европы“, августъ 1883 г., стр. 837), и потому не буду повторяться; скажу только, что онъ былъ какъ дитя добродушенъ, ласковъ, довѣрчивъ; всякая малость радовала его; всякій могъ обманывать и эксплоатировать его. Несмотря на все зло, на всѣ несправедливости, которыя онъ испыталъ въ своей многострадальной жизни, вѣра его въ людей и добро не поколебалась; ни капли желчи не накопилось въ его груди. Онъ много разъ говорилъ намъ: „Я теперь счастливъ, что всѣмъ и все простилъ! За все, что выстрадалъ, я теперь вознагражденъ“. Еслибъ и не было другихъ причинъ, то его незлобивое сердце, почти безпомощная довѣрчивость, заставили бы всякаго полюбить его.

Какъ вспомню я поэзію, которая пронизывала его всего, даже всѣ его недостатки, его грустную кончину,—я чувствую такую нѣжность, такое безконечное состраданіе, что не писать, а плакать мнѣ хочется...

Великій поэтъ, давшій ребенку имя друга, когда мы съ нимъ ходили по Васильевскому Острову въ поискахъ за красотой и находили ее въ сломанной вѣткѣ, въ отблескѣ зари,—кто изъ насъ былъ моложе душой?

Придемъ мы, бывало, домой, забьемся на желтый диванъ, въ полутемной залѣ, и польются его восторженныя рѣчи! Со слезами въ голосѣ повѣрялъ онъ мнѣ свою тоску по родинѣ, рисовалъ широкій Днѣпръ съ его вѣковыми вербами, съ легкой душегубкой, скользящей по его старымъ волнамъ; рисовалъ лучи заката, золотящіе утонувшій въ зелени Кіевъ, вечерній полумракъ, легкой дымкой заволакивающій очертанія далей; рисовалъ дивныя, несравненныя украинскія ночи: серебро надъ сонной рѣкой, тишина, замиранье... и, вдругъ, трели соловья... еще и еще... и несется дивный концертъ по широкому раздолью...

„Вотъ бы гдѣ пожить намъ съ вами, серденько!..“ Пришлось мнѣ потомъ пожить тамъ и видѣть любимую имъ Украйну, да не было со мной его, дорогого нашего Тараса Григорьевича!

Съ именемъ Шевченка, кромѣ достойнаго его друга Щепкина, съ которымъ мы проводили памятные вечера, возстаетъ въ моей памяти образъ африканскаго трагика Айра Ольдриджа, внесшаго свою долю поэзіи и теплоты въ нашъ дружескій кружокъ. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ зимой 1858-го года. Мы взяли нѣсколько ложъ рядомъ, отправились всей компаніей смотрѣть его въ „Отелло“ и пришли въ такой неописанный восторгъ, что послѣ спектакля всѣ поѣхали въ гостинницу, гдѣ онъ остановился, и дождались его тамъ. Боже мой, что̀ тамъ было! Старовъ цѣловалъ ему руки, „его благородныя черныя руки“! Я, вся дрожащая отъ волненія и конфуза, не успѣвала переводить все, что̀ говорили и восклицали окружающіе; за разъ звучали русскія, французскія, англійскія и нѣмецкія слова. Выходило что-то крайне нелѣпое, но хорошее, и всѣ были растроганы.

Въ наше разсудительное время странно даже писать обо всѣхъ этихъ тогдашнихъ приподнятыхъ чувствахъ и восторгахъ, —но сколько въ нихъ было жизни и теплоты! Сколько сильныхъ впечатлѣній, сколько сладкихъ воспоминаній они оставили!

Ольдриджъ сталъ почти ежедневно бывать у насъ, онъ насъ полюбилъ, и мы не могли не полюбить его. Это былъ искренній, добрый, безпечный, довѣрчивый и любящій ребенокъ, по характеру очень похожій на Шевченка, съ которымъ онъ близко сошелся. Бывало, войдетъ Ольдриджъ своей быстрой, энергической походкой и тотчасъ же спроситъ: „And the artist?“ Такъ называлъ онъ Шевченка, ибо всякая попытка произнести это имя оканчивалась тѣмъ, что онъ, покатываясь со смѣха надъ своими тщетными усиліями, повторялъ: „Oh, thoses russian names!“ [1]) Мы посылали за Тарасомъ Григорьевичемъ, —и „the artist“ являлся. Кромѣ сходства характеровъ, у этихъ двухъ людей было много общаго, что̀ возбуждало въ нихъ глубокое сочувствіе другъ къ другу: одинъ въ молодости былъ крѣпостнымъ, другой принадлежалъ къ презираемой расѣ; и тотъ, и другой, испытали въ жизни много горькаго и обиднаго, оба горячо любили свой обездоленный народъ. Помню, какъ оба они были расстроганы одинъ вечеръ, когда я разсказала Ольдриджу исторію Шевченка, а послѣднему переводила съ его словъ жизнь тра-

---

[1]) „О, эти русскія имена!“

гика. Отецъ Ольдриджа былъ сынъ какого-то африканскаго царька, захваченный и привезенный работорговцами въ Америку маленькимъ ребенкомъ, но онъ не попалъ въ рабство, а былъ воспитанъ, не помню—кѣмъ и какимъ образомъ, и сдѣлался пасторомъ или проповѣдникомъ между неграми. Айра Ольдриджъ еще ребенкомъ имѣлъ страсть къ театру. Въ то время, при входѣ въ театръ, висѣла надпись: „Собакамъ и неграмъ входъ воспрещается". Чтобы попадать въ театръ, Ольдриджъ нанялся лакеемъ къ одному актеру. Можно себѣ представить, сколько страданій онъ пережилъ и сколько энергіи долженъ былъ проявить, пока добился, наконецъ, извѣстности, да и то не на своей родинѣ. Даже и въ Англіи предразсудки противъ людей темной расы такъ были сильны, что актеръ Кинъ (сынъ или внукъ знаменитаго, не помню), узнавъ, что Ольдриджъ ангажированъ въ тотъ же театръ, гдѣ онъ,—съ негодованіемъ отказался играть на одной сценѣ съ „презрѣннымъ негромъ". Какъ вознагражденіе за всѣ эти обиды, женитьба Ольдриджа была крайне романическая: въ него влюбилась англійская лэди, влюбилась во время игры и, несмотря на сопротивленіе родителей, вышла за него. Во время пріѣзда его въ Петербургъ, Ольдриджъ былъ уже вдовцомъ, но у него въ Лондонѣ оставался очень любимый имъ сынъ.

Для болѣе длинныхъ рѣчей между Шевченкомъ и Ольдриджемъ требовалось посредство моихъ переводовъ, но въ обыкновенномъ разговорѣ они удивительно хорошо понимали другъ друга: оба были художники, стало быть—наблюдательны, у обоихъ были выразительныя лица, а Ольдриджъ жестами и мимикой просто представлялъ все, что̀ онъ хотѣлъ сказать.

Особенно памятны мнѣ сеансы въ мастерской Шевченка, когда онъ рисовалъ портретъ трагика [1]). Безъ насъ съ сестрой имъ нельзя было обойтись, во-первыхъ, потому, что, какъ ни была выразительна ихъ мимика, все-таки могло понадобиться объяснительное словечко, а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, потому, что отъ насъ трудно было избавиться, еслибъ они того и хотѣли. Мы съ сестрой усаживались съ ногами на турецкій диванъ, Ольдриджъ—на стулъ противъ Шевченка, и сеансъ начинался. Нѣсколько минутъ слышенъ былъ только скрипъ карандаша о бумагу,—но развѣ могъ Ольдриджъ усидѣть на мѣстѣ! Онъ начиналъ шевелиться, мы кричали ему, чтобы онъ сидѣлъ смирно, онъ дѣлалъ гримасы, мы не могли удержаться отъ

---

[1]) Находится въ Третьяковской галереѣ въ Москвѣ.

смѣха. Шевченко сердито прекращалъ работу, Ольдриджъ дѣлалъ испуганное лицо и снова сидѣлъ нѣкоторое время неподвижно. „Можно пѣть?"—спрашивалъ онъ вдругъ.—„А ну его! пусть себѣ поетъ!" Начиналась трогательная, заунывная негритянская мелодія, постепенно переходила въ болѣе живой тэмпъ и кончалась отчаяннымъ джигомъ, отплясываемымъ Ольдриджемъ посреди мастерской. Вслѣдъ за этимъ онъ представлялъ намъ цѣлыя комическія бытовыя сцены (онъ былъ превосходный комикъ); Тарасъ Григорьевичъ увлекался его веселостью и пѣлъ ему малорусскія пѣсни; завязывались разговоры о типическихъ чертахъ разныхъ народностей, о сходствѣ народныхъ преданій и т. д. Несмотря на то, что это веселое и интересное времяпрепровожденіе, къ нашему съ сестрой удовольствію, очень затягивало сеансы, портретъ былъ-таки оконченъ и вышелъ живымъ и похожимъ.

Неуспѣшны были уроки декламаціи, которые Ольдриджъ вызвался мнѣ давать: намъ все мѣшали; раза три, не больше, удалось серьезно заняться. Онъ читалъ хорошо, обдуманно, съ огнемъ, но все-таки далеко не такъ, какъ игралъ.

Ольдриджъ говорилъ, что его лучшая роль—Макбетъ; въ Петербургѣ ему не позволили играть ее, но въ провинціи онъ ставилъ „Макбета" и, говорятъ, былъ великолѣпенъ. Изъ трехъ ролей, въ которыхъ мы его видѣли, роль Шейлока нравилась мнѣ менѣе другихъ, хотя и въ ней онъ умѣлъ увлекать зрителя. Въ Лирѣ онъ былъ безусловно хорошъ. Въ сценѣ сумасшествія онъ былъ трогателенъ до слезъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ величественъ, такъ „every inch a king", что вы чувствовали къ нему именно сожалѣніе, а не жалость. Ве́рхомъ всего была послѣдняя сцена, когда онъ съ широко раскрытыми глазами, съ искаженнымъ лицомъ, вбѣгаетъ на сцену, неся на рукахъ мертвую Корделію. Кажется, онъ собирается ее бросить объ полъ и разнести все кругомъ, но взоръ его падаетъ на ея лицо, и лицо старика смягчается, онъ садится на землю, прижимаетъ къ груди дочь, гладитъ, ласкаетъ ее, весь обращается въ любовь и горе.

Лучшая изъ видѣнныхъ нами ролей Ольдриджа была безспорно роль Отелло. Эта роль была точно создана для него, или онъ созданъ для нея. Не думаю, чтобы когда-нибудь нашелся другой актеръ, который бы такъ интенсивно передалъ образъ этого варвара, этого дитяти природы: впечатлительнаго, довѣрчиваго, честнаго, нѣжнаго и свирѣпаго. Ни тѣни чувственности (какъ у Росси) не было въ его игрѣ: когда онъ вы-

ходилъ изъ совѣта, обнявши Дездемону, или встрѣчался съ нею въ Кипрѣ, онъ прикасался къ ней какъ къ святынѣ, любовь сквозила въ каждомъ его движеніи; нѣга, ласка, счастье были въ глазахъ его, въ голосѣ; что-то такое искреннее, спокойное, довѣрчивое проникало все существо его. И вотъ, въ честную душу этого вѣрящаго и любящаго человѣка злой демонъ началъ по каплѣ вливать ядъ сомнѣнія! Сначала дико и смѣшно, непонятно казалось все это мавру, но мало-по-малу сѣти все болѣе и болѣе опутывали его простую душу: „я черенъ, склоняюсь въ долину лѣтъ...“ Не животная ревность только подняла бурю въ страстной душѣ его, нѣтъ—и сознаніе несправедливости, незаслуженной обиды, сожалѣніе о потерянномъ счастьи, разочарованіе въ любимомъ существѣ, тягость страшнаго чувства недовѣрія къ людямъ,—„кому же вѣрить, если и она...“—и жалость къ *ней* прокрадывается въ его душу: „виновата ли она? я черенъ...“ Но искуситель боится природной доброты Отелло, боится, что онъ *проститъ*, не даетъ ему думать, все сгущаетъ и сгущаетъ краски клеветы, возбуждаетъ худшіе инстинкты, растравляетъ раны и будитъ, наконецъ, звѣря. Да, теперь это звѣрь, но звѣрь загнанный, измученный, истерзанный травлей: когда онъ бьетъ Дездемону, — жалко *его*. Всѣ струны его существа натянуты до невозможности, такъ продолжаться долѣе не можетъ,—и вотъ наступаетъ кризисъ. Благородство натуры мавра сказывается и здѣсь: не какъ звѣрь входитъ онъ въ спальню Дездемоны, а какъ судья, какъ каратель зла; онъ нашелъ исходъ своимъ мукамъ въ принятомъ рѣшеніи, теперь онъ спокоенъ: она *должна* умереть, но онъ не хочетъ убить ея душу, онъ не хочетъ кровью запятнать ея тѣла, онъ прощается со своей любовью поцѣлуемъ, поцѣлуемъ нѣжнымъ, цѣломудреннымъ и страшнымъ, какъ поцѣлуй, которымъ прощаются съ покойникомъ. Звѣрь снова пробуждается въ немъ только при упоминаніи имени Кассіо,—тогда, въ порывѣ ярости, онъ душитъ, колетъ и, будто убивъ самого себя, съ дикимъ крикомъ падаетъ со ступенекъ... Кажется, послѣ такой сцены все остальное должно быть уже слабо, но у Ольдриджа запасъ художественныхъ силъ еще не истощенъ, онъ еще заставитъ зрителя пострадать съ нимъ, когда ужасная истина откроется передъ его очами, и сценой самоубійства, съ ея спокойной и страшной простотой, онъ произведетъ самое сильное впечатлѣніе.

На первыхъ же порахъ нашего знакомства я спросила Ольдриджа, какъ онъ можетъ такъ страшно падать со ступеней? Что̀ онъ дѣлаетъ, чтобы не ушибиться? Онъ разсмѣялся своимъ

добродушнымъ смѣхомъ: „Что̀ дѣлаю? Да я весь въ синякахъ и шишкахъ! Развѣ я въ эту минуту что-нибудь помню? Развѣ я вижу, куда я падаю? Ужъ какъ только Богъ меня спасаетъ!“

Впослѣдствіи одна очень образованная актриса, которая играла съ Ольдриджемъ въ Одессѣ, подтвердила мнѣ, что въ „Макбетѣ“ онъ былъ, если возможно, еще выше, чѣмъ въ „Отелло“. Она, между прочимъ, разсказывала, что Ольдриджъ былъ необыкновенно милъ и ласковъ съ актерами во время репетицій, до послѣднихъ мелочей постановки онъ все устраивалъ и разъяснялъ самъ; боясь, чтобы незнаніе англійскаго языка, на которомъ онъ игралъ, не спутало русскихъ артистовъ, онъ указывалъ имъ какой-нибудь жестъ, который онъ сдѣлаетъ, когда имъ подходить или начинать, „но намъ этого не нужно было,—говорила Марья Андреевна Ч.,—мы такъ его уважали, такъ высоко ставили, такъ старались, что мы все знали и все у насъ шло гладко. Разъ случилось, что Ольдриджъ забылъ книгу для суфлера, не было уже времени посылать за нею, мы уговорили его не безпокоиться и сыграли безъ суфлера!“

Хотя я и не видѣла Каратыгина, этого представителя классической декламаціи, тѣмъ не менѣе реальность игры Ольдриджа сдѣлала на меня сильное впечатлѣніе; послѣ перваго представленія я писала въ своемъ дневникѣ: „Когда онъ выходитъ на сцену, его простота даже поражаетъ *непріятно*“. Постепенно научилась я цѣнить эту простоту и такъ увлеклась игрой Ольдриджа, что сравнивала его съ тѣмъ, что̀ я видѣла наиболѣе грандіознаго въ природѣ,—съ Иматрой.

Къ воспоминаніямъ моимъ объ Ольдриджѣ, какъ о великомъ артистѣ, постоянно примѣшиваются разные мелкіе случаи, рисующіе его милымъ и простымъ человѣкомъ, съ которымъ мы такъ весело проводили время, что невольно хочется передать что-нибудь и изъ этихъ пустяковъ. Разъ мы пошли съ нимъ въ Эрмитажъ; такъ какъ у него было мало времени, а музей былъ открытъ по извѣстнымъ днямъ, то это посѣщеніе довольно трудно было устроить. Пріѣзжаемъ мы—и вдругъ насъ не хотятъ впустить, потому что Ольдриджъ не во фракѣ! Подвижная физіономія артиста грустно вытягивается: ему такъ хотѣлось полюбоваться картинами вмѣстѣ съ нами! Внезапно лицо его принимаетъ опять веселое выраженіе и онъ, хитро̀ подмигивая, подзываетъ насъ съ сестрой въ сторону: „Подколите мнѣ сюртукъ булавками“. Сказано—сдѣлано! Ольдриджъ въ импровизированномъ фракѣ гордо проходитъ въ галерею.

Въ своемъ восторгѣ, послѣ спектакля, моя младшая сестра

сказала Ольдриджу, что желала бы быть Дездемоной, чтобы онъ ее задушилъ, и что она сейчасъ бы вышла за него замужъ, несмотря на то, что онъ черный. Ольдриджъ хохоталъ до слезъ, и съ тѣхъ поръ всегда называлъ ее „my little Weibchen", выговаривая по-англійски „w". Онъ часто пѣлъ нѣмецкія пѣсенки, и съ этимъ англійскимъ выговоромъ у него выходило это очень оригинально. Такъ проходило у насъ время въ серьезномъ наслажденіи искусствомъ и незатѣйливыхъ, но дорогихъ своею искренностью шуткахъ, и проходило такъ скоро, что мы и не замѣтили, какъ подоспѣлъ срокъ разставанья.

Въ январѣ 1859-го года Ольдриджъ уѣхалъ.

Послѣ того я видѣлась съ африканскимъ трагикомъ въ 1862-мъ году, въ Лондонѣ, гдѣ мы посѣтили его въ его домѣ, познакомились съ его маленькимъ сыномъ, который хотя и имѣлъ довольно крупныя черты лица отца, но былъ совершенно бѣлый, съ русыми волосами. Въ 1864-мъ году, когда Айра Ольдриджъ пріѣзжалъ на короткое время въ Петербургъ (но не выступалъ на сценѣ), онъ бывалъ у меня почти каждый день. Моему старшему сыну было тогда около года, и, вынося его въ первый разъ къ Ольдриджу, я ужасно боялась, что ребенокъ испугается его вида, и что мой черный другъ, который такъ страстно любилъ дѣтей, невольно огорчится. Вѣроятно и онъ думалъ что-нибудь подобное,—но ребенокъ разсѣялъ наши опасенія,—онъ тотчасъ же потянулся къ Ольдриджу и пошелъ къ нему на руки. Лицо Ольдриджа просіяло, онъ началъ плясать съ малюткой по комнатѣ и весь день не спускалъ его съ рукъ, даже за обѣдомъ.

Въ 1858-мъ году вліяніе Ольдриджа на нашихъ актеровъ было громадное: Мартыновъ, Максимовъ, Сосницкій, Каратыгинъ, Григорьевъ, Бурдинъ, Леонидовъ, всѣ были въ восторгѣ отъ него, устраивали ему оваціи, на которыя онъ сердечно отвѣчалъ, сознавались, что хотятъ учиться у него; дѣйствительно, у многихъ изъ нихъ игра стала проще, живѣе, обдуманнѣе. Одинъ В. В. Самойловъ относился презрительно и свысока къ Ольдриджу, „изъ зависти" — говорили тогда всѣ; однако, несмотря на то, что онъ громко ругалъ африканца, онъ, можетъ быть, больше другихъ позаимствовалъ у него, и въ „Лирѣ" во многихъ мѣстахъ подражалъ ему. Въ нашемъ кружкѣ часто отрицали у Самойлова творческій талантъ и допускали въ немъ только громадную подражательную способность,—но надо замѣтить, что мы были въ то время ужъ черезчуръ строгими; если сравнить Самойлова съ тѣми актерами, которыми часто восхищается наша

публика теперь, то онъ явится колоссомъ. Отъ личности Самойлова отталкивало его страшное самомнѣніе, черта завистливости, которая дѣйствительно иногда проглядывала въ немъ, заставляя его въ очень рѣзкихъ выраженіяхъ острить надъ всѣми и хулить всѣхъ. „Войдя въ комнату, — писала я о немъ, — носъ кверху, такъ и говоритъ онъ своимъ гордымъ, презрительнымъ лицомъ: — Смотрите и поклоняйтесь великому генію!“ Эта черта въ немъ еще болѣе поражала при сравненіи его съ Ольдриджемъ, который былъ очень скроменъ и искренно хвалилъ другихъ артистовъ (и того же Самойлова), отыскивая въ ихъ игрѣ не недостатки ихъ, а достоинства. Нельзя, однако, отнять у Василія Васильевича, что онъ былъ уменъ, болѣе образованъ, чѣмъ прочіе наши актеры, и, въ своихъ хорошихъ моментахъ, очень веселый и остроумный собесѣдникъ.

Максимова мы тоже тогда считали актеромъ второстепеннымъ, но теперь, когда я вспоминаю его игру, я вижу, что мы были несправедливы къ нему. Правда, онъ былъ немного вялъ, голосъ у него былъ непріятный, *Максимовъ* слишкомъ сквозилъ въ его роляхъ, въ Чацкомъ онъ былъ ходуленъ, но въ Хлестаковѣ — превосходенъ; что же касается до Гамлета, то, послѣ того, какъ я видѣла въ этой роли многихъ знаменитостей, и у насъ, и за-границей, я должна сказать, что образъ наиболѣе цѣльный, наиболѣе соотвѣтствующій моему представленію о Шекспировскомъ Гамлетѣ, все-таки, образъ, созданный Максимовымъ. Это, именно, былъ человѣкъ, заѣденный рефлексіей, который сознаетъ себя призваннымъ къ дѣлу и боится этого дѣла, который поставленъ обстоятельствами въ положеніе совершенно несоотвѣтствующее его характеру и наклонностямъ. У Максимова рельефно выходитъ конфликтъ между силой негодованія этого человѣка и его слабостью, между потребностью отомстить и боязнью ошибиться и быть несправедливымъ. У большинства актеровъ въ сценѣ театра является радость, у Максимова же — горе; ясно видно, какъ желалъ онъ ошибиться, какъ весь ужасъ для него — именно въ томъ, что онъ теперь роковымъ образомъ *долженъ* произвести расправу, долженъ въ то же время отречься отъ всякаго личнаго счастья. Сцена съ Офеліей, проводимая другими особенно эффектно (напр. у Фехнера) и такъ всѣми различно понимаемая, у Максимова была проста и трогательна; въ словахъ: „иди въ монастырь!“ — звучали тоска и любовь...

На Мартынова Ольдриджъ имѣлъ наиболѣе благое вліяніе: нашъ величайшій комикъ почувствовалъ тогда свое настоящее призваніе и, неожиданно, засверкалъ въ драмѣ звѣздой первой ве-

личины. Вотъ у кого былъ истинно творческій геній, вотъ кто могъ глубоко потрясать души людей! Какъ мы жалѣли потомъ, что Ольдриджъ не видѣлъ его въ драматическихъ роляхъ!

Въ то время въ Петербургѣ былъ расцвѣтъ сценическаго искусства, но я не пишу его исторію, и изъ всѣхъ громкихъ именъ, наполнявшихъ французскій театръ, итальянскую оперу, доставлявшихъ намъ столько высокаго наслажденія, я упомяну, только о Бозіо. Были послѣ нея чародѣйки-соловьи, какъ Патти, но такой силы таланта, такого драматизма въ голосѣ послѣ нея я ни у кого не слышала; она была не только восхитительная пѣвица, но и драматическая актриса: послѣднюю сцену въ „Травіатѣ“ она вела такъ, что, несмотря на пѣніе, казалось, присутствуешь при настоящей смерти. Намъ передавали, что Бозіо часто говорила, что она умретъ на сценѣ во время представленія „Травіаты“. Въ дѣйствительности случилось почти-что такъ: она, уже больная, пѣла „Травіату“ и умерла черезъ нѣсколько дней. Хоронили ее торжественно; несмѣтныя толпы шли за ея останками и стояли шпалерами по улицамъ; въ католической церкви соединеннымъ хоромъ обѣихъ оперъ былъ исполненъ „Реквіемъ“ Моцарта.

По поводу смерти Бозіо, я нахожу въ своемъ дневникѣ въ первый разъ высказываемые и еще смутно шевелившіеся въ душѣ вопросы. Мы съ мама̀ и сестрой пошли поклониться умершей пѣвицѣ, и вотъ что̀ я, возвратившись, писала:

1-го апрѣля 1859-го года. ...„Эта женщина, которую я такъ недавно видѣла въ полномъ цвѣтѣ здоровья, въ душѣ которой еще такъ недавно бушевали силы и желанья, которая еще такъ недавно услаждала меня дивными звуками, теперь лежитъ безчувственнымъ кускомъ дерева и можетъ издать только одинъ звукъ, когда опустятъ ея гробъ въ холодную землю, или когда, черезъ нѣсколько лѣтъ, можетъ быть, копая могилу, выбросятъ изъ нея старыя кости. Боже мой! Что̀ же это за жизнь, когда человѣкъ со всѣми своими желаніями, страстями, надеждами, стремленіями превратится лишь въ кушанье червямъ!.. По истинѣ, какъ говоритъ Каину Люциферъ: „Know, mortal, nature's nothingess [1])“. Одно утѣшеніе, что душа безсмертна. Но она будетъ существовать въ неизвѣстномъ намъ мірѣ (гдѣ уже, навѣрно, не будетъ тѣхъ желаній и стремленій, которыя и составляютъ жизнь), а для земли она навсегда умретъ“.

---

[1]) Изъ поэмы Байрона „Каинъ“: „Познай ничтожество природы смертнаго!“.

XII.

Human nature is kind and generous,
but it is narrow and blind.

Ruskin.

Whatever their force of genius may
be, there is no easy method of becoming
a good painter.

Reynolds.

Мои воспоминанія о Шевченкѣ и Ольдриджѣ увлекли меня, а между тѣмъ въ 1858-мъ году совершилось одно событіе, которое до сихъ поръ возбуждаетъ во мнѣ очень тяжелыя чувства и думы: весною Ивановъ привезъ въ Петербургъ свою картину.

Отъ отца и матери я много слышала горячихъ похвалъ этой картинѣ, которую они видѣли въ 1847-мъ году въ Римѣ. Вообще, всѣми ожидалось что-то небывалое, что̀ должно было разомъ преобразить искусство. Одни разсказы о томъ, что картина писалась двадцать лѣтъ, доводили эти ожиданія до чего-то фантастическаго, но, надо признаться, крайне неопредѣленнаго. И вотъ, наступила торжественная минута, когда эта долго ожидаемая картина предстала предстала передъ нами [1]). Тяжелая это оказалась минута!..

Помню я ясно лицо Иванова, больное, озабоченное, взволнованное, съ пытливыми глазами, обращенными къ отцу моему, и сконфуженную мину отца, избѣгавшаго этого взора...

Они отошли и долго говорили вдвоемъ; я этого разговора не слышала, но вскорѣ послѣ того Ивановъ ушелъ, и бывшая тутъ избранная публика осталась одна передъ картиной. Тогда поднялись всеобщіе возгласы осужденія и разочарованія; отецъ или отмалчивался, или обращалъ вниманіе зрителей на красоту или выразительность отдѣльныхъ фигуръ, а дома съ тоской говорилъ, что Ивановъ испортилъ свою картину, что она была гораздо лучше, когда онъ видѣлъ ее въ Римѣ, что онъ бо̀льшаго ожидалъ отъ нея.

Можетъ быть, картина Иванова и была прежде еще лучше, а можетъ быть она казалась лучше, потому что была неоконченна, — неоконченная вещь всегда даетъ большое поле воображенію; вѣрнѣе всего, что, постоянно переписывая ее, Ивановъ уничтожилъ бывшую прежде свѣжесть и гармоничность красокъ, и это такъ непріятно поразило отца въ первую минуту.

---

[1]) Мы отправились смотрѣть ее во дворецъ въ первый же день, когда ее тамъ установили.

На меня, какъ и на прочихъ, картина сдѣлала непріятное впечатлѣніе какого-то ковра, но потомъ, при воспоминаніи о ней дома, когда общій непріятный колоритъ исчезъ изъ глазъ, а фигура Іоанна, дрожащій мальчикъ, лицо раба, спина старика, и проч., все сильнѣе и сильнѣе выступали въ моемъ воображеніи, вся картина какъ-то постепенно внѣдрялась въ меня и разбирала меня. Когда ее постоянно при мнѣ бранили знакомые, я сначала соглашалась съ ихъ замѣчаніями, а потомъ, съ какой-то злостью противъ нихъ, твердила: „А все-таки она хороша!"

Съ кѣмъ я ни говорила изъ художниковъ впослѣдствіи, на всѣхъ картина произвела почти одинаковое впечатлѣніе: всѣмъ сразу не понравилась, а потомъ привела въ восторгъ. Одинъ художникъ разсказывалъ мнѣ, что также, разочаровавшись въ картинѣ, онъ въ ту же ночь видѣлъ ее во снѣ. Утромъ, встрѣтившись съ товарищемъ, они въ одинъ голосъ закричали: „Какіе мы дураки!"—и бросились вновь къ картинѣ. „Она много разъ снилась мнѣ",—прибавлялъ онъ.

Неблагопріятно было только первое впечатлѣніе, но какъ оно было ужасно для Иванова и какъ несправедливо!

Почему мы не поняли и не оцѣнили сразу „Явленіе Христа народу"? Чего же мы не нашли въ немъ? Что̀ такое мы ожидали, чего художникъ не выполнилъ? Развѣ это была не самая лучшая картина, не только въ Россіи, но, можетъ быть, и во всемъ современномъ искусствѣ? Развѣ можно ближе и лучше выразить свою мысль, чѣмъ это сдѣлалъ Ивановъ? Что̀ въ исполненіи не соотвѣтствуетъ этой мысли?

Во всей картинѣ царитъ одинъ моментъ, одно движеніе, и нѣтъ ни одной мелочи, которая бы не способствовала, не выясняла его. Рабство, страданье и невѣдѣніе вѣковъ выражены въ отдѣльныхъ фигурахъ и лицахъ толпы, и на нихъ же отражается все грядущее, со всѣмъ его новымъ, непонятнымъ, но безумно радостнымъ. На лицѣ этого старика, что не имѣетъ силъ подняться, написано счастливое: „дождался"! Лицо забитаго раба ясно говоритъ: „и на нашей улицѣ будетъ праздникъ"! А этотъ дрожащій недалекій человѣкъ,—какая неосмысленная, но великая радость наполняетъ его! Радуются старики, а юноши, не испытавшіе еще столько страданья и не такъ еще нуждающіеся въ утѣшеніи, смотрятъ серьезно и болѣе пытливо, какъ будто силясь понять новое для нихъ явленіе.

Есть въ толпѣ и отрицающіе, и злые, но и они только усиливаютъ впечатлѣніе, какъ бы подчеркиваютъ важность совер-

шающагося событія. Всѣ эти выраженія и движенія фигуръ стройно, безъ всякаго отвлеченія, ведутъ вашъ глазъ и мысль къ тому, кто одинъ въ толпѣ вполнѣ понимаетъ и объясняетъ событіе,—къ фигурѣ Іоанна, къ той мощной, титанической фигурѣ, при взглядѣ на которую у васъ захватываетъ дыханіе. Вотъ онъ, страстный, грозный каратель, „гласъ, вопіющій въ пустынѣ“, въ пустынѣ природы, въ пустынѣ дикихъ сердецъ людскихъ! И теперь онъ весь трепещетъ, и теперь страстнымъ воплемъ вырываются изъ его суровой, настрадавшейся души слова „доброй вѣсти“.

Этотъ пророкъ, „глаголомъ жегшій сердца“, заставлявшій народъ дрожать и каяться, говоритъ ему: „Вотъ идетъ Тотъ, Кому я недостоинъ развязать ремни обуви Его...“ Сильнымъ движеніемъ, весь подавшись впередъ, каждымъ фибромъ своей души, каждымъ мускуломъ своего тѣла, указываетъ онъ на Грядущаго... Нашъ глазъ и мысль съ тревогой слѣдуютъ за движеніемъ. Кто же тотъ, кто сильнѣй этого? Кто будетъ крестить не „водой, а огнемъ и духомъ“? Это—агнецъ, пришедшій взять на себя грѣхи міра“. Негодованіе, караніе зла смѣняются любовью. Но не слабая это любовь, не мягкость одна: тотъ, кто такъ любитъ, кто беретъ на себя грѣхи міра, долженъ быть еще болѣе мощный и сильный, чѣмъ его предтеча. Но развѣ можно создать еще болѣе могучій образъ? Да, можно; взгляните на Христа!

Онъ еще впереди, Онъ еще далекъ, Онъ еще только является, но вглядитесь въ это чудное, никогда еще такъ не изображенное лицо! На немъ выражается сила бо̀льшая, чѣмъ сила вдохновенья, негодованія, страданія или радости,—сила воли, убѣжденія. Какое достоинство, спокойствіе и простота въ его позѣ! Онъ точно несетъ что-то торжественное и драгоцѣнное, а вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ, какъ простой человѣкъ, свободно и спокойно. Страшная рѣшимость въ его энергичныхъ сжатыхъ губахъ: изможденное и твердое лицо несетъ отпечатокъ побѣжденныхъ искушеній; его глаза, — благіе и строгіе вмѣстѣ, въ нихъ что-то всеобъемлющее, сверхземное, проницательное и подернутое думой. Онъ *знаетъ*, зачѣмъ Онъ идетъ, и всякій, кто только взглянетъ на Него, пойметъ, что Онъ *совершитъ* то великое и страшное, на что̀ идетъ. Онъ—истинное сосредоточіе картины, самое сильное въ ней, то, къ чему все въ ней, не исключая и Іоанна, васъ готовило.

Еслибы привести человѣка, никогда ничего не слыхавшаго объ Евангеліи и Христѣ, то онъ точно такъ же понялъ бы кар-

тину: никакого названія ей не нужно, она сама ясно излагаетъ свой сюжетъ.

Кромѣ этого общечеловѣческаго, доступнаго пониманію всякаго, въ Христѣ Иванова есть и еще что-то чисто-русское, близкое именно русской душѣ, и внѣшній обликъ Христа—гораздо болѣе православный, чѣмъ католическій или какой-нибудь иной.

Помимо всего выше сказаннаго, картина имѣетъ достоинство, въ которомъ, можетъ быть, заключается ея величайшее значеніе для Россіи: въ этой картинѣ Ивановъ рѣзко и смѣло перешелъ границы традиціоннаго классицизма, перешагнулъ, не обращая на него вниманія, черезъ романтизмъ и прямо ступилъ на реальную почву. Послѣ картины Иванова стало уже *невозможно* писать въ духѣ Бруни или даже Брюллова. Отъ Иванова идутъ Рѣпины и Васнецовы.

Какъ этотъ застѣнчивый, малообразованный, одинокій и окруженный классицизмомъ человѣкъ дошелъ до своего столь широкаго взгляда на искусство?

Еще бывши ученикомъ академіи, Ивановъ горько сознавалъ всѣ недостатки преподаванія въ ней, и тогда уже умъ его возставалъ противъ царившей въ ней рутины, съ которой большинство учениковъ мирилось. Въ полномъ сознаніи своего невѣжества, но съ горячимъ желаніемъ учиться, поѣхалъ онъ заграницу. Къ его несчастью, онъ и тамъ никого не встрѣтилъ, кто бы могъ поддержать или направить его; напротивъ, все складывалось, чтобы удержать его на почвѣ рутины.

Инстинктивно рвется онъ къ реализму, но все окружающее препятствуетъ ему. Скромный и застѣнчивый, не довѣряя себѣ, Ивановъ сначала подчиняется совѣтамъ противоположнымъ, живущимъ въ немъ, еще не вполнѣ ясно сознаннымъ, стремленіямъ,—подчиняется, но не совсѣмъ: были вещи въ его эскизахъ и первой картинѣ, которыхъ онъ не измѣнялъ даже по совѣтамъ тѣхъ людей, кого онъ наиболѣе уважалъ, какъ—отца своего, и кому наиболѣе поклонялся, какъ—Овербеку и Торвальдсену; онъ не поддался даже прелести quatrocentist'овъ, изучалъ ихъ, но не подражалъ имъ. Казалось, будто его наивная и склонная къ мистицизму натура легко поддавалась постороннему вліянію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то внутри его упиралось и отклоняло это вліяніе.

Такъ было и съ Гоголемъ: Ивановъ преклонялся передъ нимъ, считалъ его совершенствомъ, называлъ учителемъ, но и тутъ съумѣлъ сохранить свою внутреннюю самостоятельность и удержаться на реальной почвѣ; напротивъ, въ то время какъ

Гоголь окончательно потопулъ въ мистицизмѣ, умственный взоръ Иванова открывался все шире, и цѣлый духовный міръ, отдѣльный отъ всего окружающаго, въ высшей степени своеобразный, создавался въ тиши замкнутой жизни художника. Создавался онъ и росъ постепенно, какъ постепенно создавались и росли творенія Иванова. Трудно найти другого современнаго художника, который бы такъ боролся съ окружающимъ и такъ много черпалъ изъ своего собственнаго духа, какъ Ивановъ.

Много ложныхъ мнѣній существовало объ Ивановѣ еще при его жизни; напримѣръ: сочиненіе всевозможныхъ проектовъ и манія преслѣдованія часто давали поводъ считать Иванова полусумасшедшимъ, а то, что онъ запирался отъ людей и временами не пускалъ никого въ свою мастерскую,—называть гордостью и проявленіемъ болѣзненнаго самолюбія.

Проекты Ал. Андр. вовсе не безсмысленны,—они были неосуществимы по формѣ, особенно въ то время, но всѣ они проникнуты идеей наибольшаго развитія и образованія между художниками. Хорошо было бы, еслибъ и теперь осуществился составленный имъ планъ народнаго музея.

Манія преслѣдованія, выразившаяся въ страхѣ быть отравленнымъ, конечно, явленіе ненормальное, но можетъ быть легко объяснена слишкомъ замкнутой, одинокой римской жизнью Иванова и постояннымъ болѣзненнымъ состояніемъ его желудка; эта манія вполнѣ уничтожилась, когда онъ, наконецъ, рѣшился путешествовать и возобновить болѣе широкое общеніе съ людьми. Такія странности бываютъ, иногда, плодомъ одинокаго развитія: когда человѣкъ сидитъ одинъ и до всего доходитъ самъ (а сколько разъ бѣдный Ивановъ открывалъ Америку!), то мышленіе его можетъ въ иныхъ случаяхъ отклониться отъ нормальнаго мышленія образованнаго человѣка, развитіе котораго, обыкновенно, идетъ болѣе ровно. Доказательствомъ ясности и здравости ума Иванова служитъ уже одно то, что въ годà, когда люди начинаютъ отставать, онъ все шелъ впередъ, и умственный горизонтъ его все расширялся.

Обвиненіе Иванова въ гордости и „адскомъ самолюбіи", всегда горячо оспариваемое моими родителями, теперь, при чтеніи его писемъ и біографіи, падаетъ само собою. Онъ былъ скроменъ, неувѣренъ въ своихъ силахъ, часто недоволенъ собой, онъ былъ непоколебимо увѣренъ въ одномъ: въ истинности тѣхъ убѣжденій, которыя, помимо всего, жили въ его душѣ. Когда Ал. Андр. послалъ въ Петербургъ свою картину „Христосъ въ вертоградѣ", которою онъ самъ былъ недоволенъ, онъ совер-

шенно не ожидалъ ея успѣха, былъ пораженъ имъ и, какъ дитя, обрадованъ, но подкладкой его радости была надежда, что успѣхъ этотъ дастъ ему возможность работать надъ его „Явленіемъ Христа“.

Какъ ни былъ Ивановъ далекъ отъ политической и соціальной жизни, какъ ни былъ онъ иногда мрачно и болѣзненно настроенъ, всегда жила въ немъ любовь къ людямъ. Глубоко трогательны его заботы объ отцѣ и братѣ; его упреки отцу за долгое отсутствіе извѣстій дышатъ совершенно дѣтскою и горячею любовью; самъ вѣчно мучимый нуждой, онъ никогда не перестаетъ хлопотать о нуждахъ товарищей-художниковъ, называя ихъ „своими родными братьями“, и въ будущемъ строить широкіе планы, чтобы помочь имъ: свобода, независимость артистовъ у него всегда на первомъ планѣ. Великая любовь къ Россіи и ея художественной славѣ не мѣшаетъ Иванову быть справедливымъ къ европейскимъ талантамъ и желать блага всякому искусству; по его мнѣнію, Россія призвана внести новый свѣтъ въ Европу. Когда, послѣ своего долголѣтняго добровольнаго одиночества, онъ вышелъ на свѣтъ Божій и сталъ являться въ обществѣ,—какъ по-дѣтски удивляется нашъ художникъ самымъ простымъ вещамъ, какъ наивно выражаетъ свои восторги! Какъ самая малость утѣшаетъ его, и какъ рѣдки были для него эти утѣшенія!

Много говорятъ о переворотѣ, который произошелъ въ убѣжденіяхъ Иванова въ 1848-мъ году, и жалѣютъ, что слишкомъ мало сохранилось данныхъ, чтобы судить о немъ. Мнѣ же кажется, что этотъ переворотъ не имѣетъ въ жизни нашего художника той важности, которую ему придаютъ; это былъ только фазисъ въ его все по той же дорогѣ шедшемъ развитіи. Что̀, въ самомъ дѣлѣ, случилось съ Ивановымъ въ 1848-мъ году? Съ нимъ случилось довольно поздно то, что̀ бываетъ со многими людьми въ болѣе молодые годы: онъ прочелъ нѣсколько книжекъ, между прочимъ Штрауса, и, по собственнымъ его словамъ, онъ „потерялъ вѣру“. Между тѣмъ, въ 1858-мъ году онъ такъ выражался: „Я мучусь о томъ, что не могу формулировать искусствомъ, не могу воплотить мое новое воззрѣніе, а до стараго касаться я считаю преступнымъ. Писать безъ вѣры религіозныя картины—это безнравственно, это грѣшно!“—„...Что̀ же я буду въ своихъ глазахъ, взойдя безъ вѣры въ храмъ и работая тамъ съ сомнѣніемъ въ душѣ!“—Конечно, такъ говорившій не потерялъ вѣры, а только преобразилъ ее, идя все тѣмъ же путемъ самоусовершенствованія.

Надо сознаться, что тернистый былъ его путь, что исключительно трудная и безрадостная жизнь выпала ему на долю. Посреди всѣхъ его испытаній мнѣ кажется самымъ трагическимъ—неосуществленіе его поѣздки въ Святую Землю. Грустно подумать, какъ это путешествіе легко теперь, и какъ недоступно оно казалось для Иванова, которому было такъ нужно! Еслибъ онъ могъ всѣ тѣ этюды пейзажей, купающихся людей, еврейскихъ типовъ, изученію которыхъ онъ посвятилъ столько времени и силъ, писать въ Палестинѣ,—во сколько разъ выиграла бы во внѣшней правдѣ его картина и во сколько разъ онъ былъ бы болѣе удовлетворенъ самъ. Какъ страстно, до послѣдняго издыханія, стремился онъ туда!.. Но „Рафаель не ѣздилъ въ Палестину“,—говорилъ отецъ Иванова; и „Общество поощренія художествъ“ нашло, что это—совершенно лишняя фантазія! Невольно приходитъ на мысль сравненіе съ Микель-Анджело и его гробницей Юлія: оба бились, оба производили великое, и обоимъ не дали достигнуть ихъ главнаго желанія.

Трагична также въ жизни Ал. Андр. вѣчная, не дающая успокоиться, борьба съ нуждой. Только художникъ можетъ понять весь ужасъ положенія, когда человѣкъ долженъ надолго бросать излюбленный трудъ, бросать, можетъ быть, въ моментъ вдохновенія, наибольшаго поднятія силъ, бросать потому, что *не было денегъ на натурщика!..*

И этому человѣку ставятъ въ вину, что онъ двадцать лѣтъ писалъ одну картину! „Я бы могъ очень скоро работать,—говоритъ Ивановъ,—еслибъ имѣлъ единственною цѣлью деньги“. Еслибъ онъ написалъ во всю свою жизнь одну только картину „Явленіе Христа“, то и этого было бы достаточно:—не много жизней, которыя въ результатѣ даютъ такой плодъ; но въ эти двадцать лѣтъ наименьшее время отдавалъ авторъ своему излюбленному произведенію. Сколько разъ онъ на цѣлые годы долженъ былъ прекращать работу изъ-за недостатка средствъ, изъ-за болѣзней, сколько написалъ за это время этюдовъ, которыхъ однихъ достаточно, чтобы прославить его имя; сколько сдѣлалъ рисунковъ, полныхъ смѣлаго замысла, новыхъ и чудныхъ мыслей, живого исполненія, свидѣтельствующихъ о геніи Иванова, можетъ быть, еще громче, чѣмъ его картина!

Подъ словомъ „геній“ мы обыкновенно понимаемъ способность человѣка творить легко, быстро, какъ бы подъ внезапнымъ наитіемъ; но и геніи бываютъ различные, и эта разница зависитъ отъ темперамента и отъ окружающихъ обстоятельствъ. Если Микель-Анджело написалъ свой плафонъ въ четыре года,

то развѣ Леонардо не такъ же долго, какъ Ивановъ, искалъ типъ своего Христа? И что̀ же, какъ не геній, даетъ человѣку возможность мыслью опередить свой вѣкъ и съ энергіей прокладывать новый путь?

Во время послѣдняго путешествія и короткаго пребыванія въ Россіи, всѣ сокровища духовныя, которыя накопились въ душѣ Иванова въ продолженіе его одинокой работы надъ самимъ собой, какъ будто всплыли наружу, и въ немъ началась новая созидательная работа. „Картина моя,—говорилъ Ал. Андр. въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни,—не есть послѣдняя станція... Я за нее стоялъ крѣпко въ свое время и выдержалъ всѣ бури... Нужно теперь учинить другую станцію нашего искусства—его могущество приспособить къ требованіямъ времени и настоящаго положенія Россіи“. — „Живопись нашего времени должна проникнуться идеями новой цивилизаціи, быть истолковательницей ихъ. Соединить Рафаелевскую технику съ идеями новой цивилизаціи—вотъ задача искусства въ наше время“. — „Раньше той поры, когда опредѣлится во мнѣ идея современнаго искусства, я не начну производить новыя картины; до той поры я долженъ работать не надъ изображеніемъ своихъ идей на полотнѣ, а надъ собственнымъ своимъ образованіемъ“.—„Если мнѣ даже не удастся пробить или намѣтить высокій и новый путь,—стремленіе къ нему все-таки показало бы, что онъ существуетъ впереди!“

Ивановъ не только намѣтилъ новый путь,—онъ распахнулъ передъ русскимъ искусствомъ ворота къ свободѣ; онъ, какъ Предтеча на его картинѣ, широкимъ взмахомъ своей творческой руки указалъ на нѣчто еще далекое, но ему видимое и твердо грядущее.

И такого художника, и такую картину мы не поняли, хотя, казалось бы, и мысли этого человѣка, и картина его какъ нельзя болѣе соотвѣтствовали тѣмъ стремленіямъ, которыя таились въ насъ самихъ. Почему же мы не поняли ихъ значеніе? Почему „разочаровались“.

Сказать ли, поборовъ краску стыда, которая выступаетъ при этомъ воспоминаніи?—Потому что мы не нашли въ ликѣ Спасителя „божественности“, т.-е. слащавой мягкости, къ которой мы привыкли. Потому что „колоритъ картины былъ непріятенъ“. Потому что, какъ выразился одинъ критикъ, она „не была обворожительна для глазъ“! Потому что мы не смѣли еще сбросить съ себя кору покрывавшей насъ рутины. Овацію слѣдовало устроить Иванову, такую овацію, какой не видала еще Россія, а

мы, недоразвитые, критиковали и, съ мелочной боязнью сойти съ протореннаго пути, старались подавить восторгъ, помимо нашей воли накипавшій въ душѣ!

Какъ страшно виноватыми почувствовали мы себя послѣ внезапной смерти Иванова! Никто не поминалъ о томъ, что онъ умеръ отъ холеры,—мы говорили, что его убилъ холодный пріемъ, недостатокъ участія и оцѣнки, что онъ умеръ отъ огорченія. И мы были правы въ этомъ: не унесла бы его такъ скоро холера, еслибы онъ не былъ истощенъ физически [1]) и истерзанъ нравственно, еслибы сочувствіемъ братьевъ-людей были подняты въ немъ энергія и жизнерадостная сила.

XIII.

...Украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной.

Пушкинъ.

К. продолжалъ изрѣдка бывать у насъ, но ничего близкаго или дружескаго не было между нами, мнѣ было тяжело съ нимъ. Зачѣмъ онъ приходилъ? Чтобы бередить свои раны, или, просто, видѣть меня?..

Если смотрѣть трезво, моя мать была права, что разстроила мой начинавшійся романъ съ К.; онъ не имѣлъ средствъ, не былъ созданъ, чтобы пріобрѣсти ихъ, я же была очень избалована и ровно ничего не понимала въ практической жизни.

Можетъ быть, и способъ, который мама выбрала для этого, былъ единственно возможный, чтобы, при моемъ впечатлительномъ и привязчивомъ характерѣ, прервать эту любовь, но надо сказать, что это былъ способъ очень жестокій, не только для К., но и для меня. Эта исторія не прошла безслѣдно въ моей нравственной жизни: я стала хуже; я стала болѣе предаваться внѣшней жизни, стала раздражительнѣе, съ моей любовью исчезла моя свѣтлая, дѣтская радость жизни, и я перестала считать себя самой счастливой въ мірѣ. Какая-то горечь проникла мнѣ въ душу; несмотря на всѣ удовольствія, въ сердцѣ чувствовалась пустота, которую безсознательно хотѣлось наполнить.

Какъ я упоминала, мои отношенія съ матерью въ дѣтствѣ были холоднѣе, чѣмъ съ прочими членами семьи; теперь это постепенно измѣнилось: мама приближала меня къ себѣ, подолгу

---

[1]) Его безплодныя поѣздки, заботы, отнимавшія аппетитъ, и др.

бесѣдовала со мной, и наши пути какъ бы слились,—мамà уже не имѣла отдѣльной отъ меня жизни, мы были всегда вмѣстѣ. Въ ней было столько жизненности и живости, что намъ бывало безъ нея скучно. Мнѣ казалось, что я прежде не понимала ее, я радовалась перемѣнѣ нашихъ отношенiй, и моя любовь къ ней принимала размѣры какого-то боготворенія. Однако и это сильное чувство не поглощало меня всю. Появились у меня и ухаживатели, но они не интересовали меня, — во мнѣ жило недовольство и собой, и другими, начиналось какое-то броженіе... А тутъ подоспѣло для меня новое горе—разставаніе съ академіей. Отецъ былъ произведенъ изъ вице-президента академіи художествъ въ товарищи президента. Это была почетная отставка, но все-таки отставка. Отцу было тяжело перенести это, тяжело оставить любимую дѣятельность, оставить академію, съ которой неразрывно связана была его жизнь, даже квартиру, гдѣ онъ прожилъ, окруженный любимыми предметами, почти полъ-столѣтія. Хотя онъ молчалъ и даже шутилъ, называя великую княгиню Марію Николаевну „своей подругой", но друзья наши хорошо понимали состояніе его души и рѣшили показать ему свое участіе въ трудную для него минуту, устройствомъ празднованія юбилея его пятидесятилѣтней дѣятельности въ академіи.

Это не было оффиціальное празднованіе,—это было именно собраніе друзей, поэтовъ, ученыхъ, художниковъ, гдѣ каждое изъявленіе восторга, каждое слово было искренно. Самую длинную рѣчь, обзоръ всей жизни отца, прочиталъ молодой литераторъ А. Г. Тихменевъ. Приведу мѣста изъ нея, которыя вызвали наиболѣе шумные апплодисменты: „Графъ любилъ искусство не для почестей, не для препровожденія времени, не для денегъ; онъ любилъ искусство для него самого". „Прочитывая и вникая въ смыслъ классиковъ, онъ старался создать въ своемъ воображеніи отчетливую, полную и вѣрную картину древняго быта, онъ переносился въ тотъ міръ, который въ силахъ былъ произвести типы чистой идеальной красоты, не какъ плодъ личной фантазіи художника, а какъ результатъ народныхъ вѣрованій. Законченность и историческая истина этихъ высокихъ идеаловъ прельщали пытливую душу графа"... „Отецъ медальернаго искусства въ Россіи, жаркій поклонникъ чистой красоты, графъ не могъ слѣдовать рутинному направленію эклектиковъ и псевдо-классиковъ, не могъ терпѣть отсутствія самостоятельной мысли въ искусствѣ, и съ терпимостью высокаго таланта не могъ не оказывать непосредственнаго вліянія на міръ нашихъ художниковъ... Онъ пріобрѣлъ

это вліяніе, сдѣлался неизмѣннымъ живымъ фокусомъ развитія русской школы, которая началась на его глазахъ, имъ поддержана, при немъ достигла настоящаго своего положенія, когда имена Брюлловыхъ, Ивановыхъ и другихъ сдѣлались дорогими для народа, для всего общества. Много борьбы, неудачъ, недосказанныхъ фразъ, интригъ и одностороннихъ уклоненій записано въ лѣтопись развитія русскаго искусства; долго было подвержено сомнѣнію существованіе русской школы. Пятьдесятъ лѣтъ графъ являлся постояннымъ, энергичнымъ, всегда сильнымъ защитникомъ правъ отечественнаго искусства. Пятьдесятъ лѣтъ покровительствовалъ онъ художникамъ, безъ меценатства, не побарски, а какъ товарищъ и старшій братъ". „Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ онъ совершалъ трудный подвигъ внутренней борьбы во имя искусства, подвигъ искупленія общественныхъ предразсудковъ, подвигъ мысли. Теперь онъ видитъ великій плодъ своего подвига, созрѣвшій неуловимо для историка: плодъ этотъ въ успѣхахъ нашего русскаго искусства, въ немъ награда и вѣнецъ истиннаго художника:

Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Иного генія полетъ"...

„Неизмѣнный поклонникъ древне-эллинской красоты, онъ не понималъ ее односторонне, онъ поощрялъ всякое живое воспроизведеніе природы и удачное изображеніе обиходной жизни (genre), и *натуру* въ пейзажѣ; онъ понималъ и объяснялъ молодому художнику, какъ удовлетворять эстетическимъ требованіямъ вѣрнымъ и точнымъ изображеніемъ дѣйствительности"... „Взглянувъ на трудолюбіе графа, который не утомляется ни лѣтами, ни обстоятельствами жизни, на это вѣчное присутствіе мысли въ головѣ, украшенной сѣдинами, — становится стыдно праздности. Молчаливая картина, представляющаяся взору молодого человѣка, когда графъ сидитъ день до поздней ночи за кропотливой работой, за книгой, за тетрадью, — убѣждаетъ краснорѣчивѣе всякихъ ораторскихъ диспутовъ. А взгляните на эту оживленность въ чертахъ лица его, когда онъ заговоритъ объ изящномъ, на эти глаза, полные художественной мысли, когда они остановятся на произведеніи искусства, посмотрите на его жизнь, съ самоотверженіемъ отданную искусству, — и вы скажете, что вамъ мало уважать его, вамъ нуженъ онъ самъ, вамъ нужно его присутствіе непосредственно".

Упомянувъ, что молодежь идетъ къ нему безъ страха передъ его авторитетомъ и уходитъ съ сильнѣе бьющимся сердцемъ и поднятою бодростью, Тихменевъ закончилъ словами извѣстнаго стихотворенія:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья.
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье,
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Профессоръ Благовѣщенскій сказалъ прекрасную рѣчь объ отцѣ, не какъ о художникѣ, а какъ о человѣкѣ. Эта рѣчь не была приготовлена, и потому была живѣе и горячѣе предыдущей; къ сожалѣнію она не была написана, и я ее не такъ хорошо помню. Старикъ Одоевскій говорилъ о рисункахъ „Душеньки", помянулъ извѣстное четверостишіе:

Нашъ Богдановичъ милую поэму написалъ,
Но Пушкина стихи ее убили:
Къ ней графъ Толстой рисунки начерталъ,
И „Душеньку" рисунки воскресили!

—и кончилъ за „энергію въ трудахъ графа". Всѣ воодушевлялись болѣе и болѣе.

Сѣверцевъ прочелъ свое стихотвореніе:

„Тому полсотни лѣтъ—въ надутый барства вѣкъ
Потѣхою двора изящное считалось,
Лишь меценатомъ быть могъ знатный человѣкъ,
Искусствомъ—графство унижалось.

Тогда искусству вы служили,
Трудились крѣпко, какъ плебей,
И спѣсь враждебную сломили
Античной прелестью своей!

И вотъ теперь пора иная,
Искусство въ славѣ, барства нѣтъ:
Предтечѣ мы, семья младая,
Приносимъ искренній привѣтъ!"

На моего бѣднаго скромнаго растроганнаго отца насильно надѣли лавровый вѣнокъ,—и не смѣшонъ, а прекрасенъ былъ этотъ вѣнокъ на вьющихся бѣлоснѣжныхъ кудряхъ.

Этотъ день былъ для меня послѣдней вспышкой моего беззавѣтнаго лучезарнаго дѣтскаго счастья; это былъ одинъ изъ самыхъ торжественныхъ дней моей жизни. Мое чувство любви къ отцу было удовлетворено превыше мѣры восторгами, порывами, горячими рѣчами и искренними слезами другихъ людей. Это любовное чествованіе являлось мнѣ оцѣнкою, апоѳеозомъ дорогого мнѣ человѣка и художника, и самъ онъ казался мнѣ окруженнымъ ореоломъ... Сердце мое рвалось отъ счастья, восторга и гордости...

Но чудный мигъ прошелъ, а изъ академіи все-таки приходилось выбираться! Я не хотѣла вѣрить, что я могу жить внѣ академіи, „гдѣ-нибудь въ улицѣ, гдѣ изъ оконъ не будетъ видно неба, рѣки и заката". „Это несправедливо, что меня вытѣсняютъ изъ моей родины!" [1]) Я цѣловала стѣны, рисовала печь, находившуюся противъ моей постели, глядя на пестрые изразцы которой, я сочиняла столько сказокъ и романовъ, отрывала на память куски обоевъ, однимъ словомъ—безумствовала.

Такъ какъ мама̀ рѣшила ѣхать черезъ годъ за границу, то тётѣ Надѣ теперь же была нанята отдѣльная квартира, куда она и перебралась со своей вѣрной Аннушкой. Бѣдной старушкѣ, прожившей у брата всю жизнь, привыкшей къ семьѣ, къ дѣтямъ, должно быть, было не легко. Трудно было и бѣдной тетѣ Катѣ, которой пришлось разбираться въ вещахъ, пятьдесятъ лѣтъ не тронутыхъ съ мѣста. Непріятности перевозки на новую квартиру, нанятую въ 3-й линіи въ домѣ Вольфа, мы съ мама̀, какъ всегда, всецѣло свалили на ея плечи, а сами спаслись въ Финляндію.

У насъ было много гостей въ это лѣто, между прочими Н. Д. Старовъ, который заражалъ всѣхъ своимъ шумнымъ энтузіазмомъ, и А. И. Мещерскій. А. И. былъ въ высшей степени мягкій, добрый человѣкъ, и я его очень любила, но ни съ кѣмъ на свѣтѣ я такъ не ссорилась, какъ съ нимъ: мы спорили цѣлыми днями, спорили чуть не до слезъ; только во время уроковъ рисованія, которые онъ давалъ мнѣ, я превращалась въ смиренную ученицу и вполнѣ признавала его авторитетъ.

---

[1]) Слова изъ моего тогдашняго дневника.

XIV.

...I will go over now,
Like one who paints with knitted brow
The flowers and all the things one by one
From the snail on the wall to the setting
sun.
William Morris.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ неожиданно пріѣхалъ въ нашу Марковиллу Николай Алексѣевичъ Сѣверцевъ. Онъ былъ близко знакомъ съ нами еще до своей поѣздки въ Среднюю Азію и своего плѣна у коканцевъ. Онъ любилъ бесѣдовать съ моей матерью, а насъ, дѣтей, иногда занималъ разсказами старыхъ легендъ и сценъ изъ жизни звѣрей; послѣдніе показываютъ его наблюдательность и характерное отношеніе къ животнымъ; не могу не привести хоть одного изъ нихъ. „Рисуя съ натуры въ звѣринцѣ, — разсказывалъ Н. А., — я особенно подружился съ одной тигрицей; она постоянно играла со мной: возьметъ въ ротъ мою руку и перебираетъ зубами между пальцами, — это ихъ любимая забава. Ну, а когда зрителей много, тутъ она начинаетъ сама представленіе давать: ляжетъ на спину, схватитъ мою руку и, какъ котенокъ, пинаетъ ее четырьмя лапами; вскочитъ, зарычитъ, бросится на меня, схватитъ руку, кусаетъ, пуститъ и опять, будто съ ожесточеніемъ, схватитъ, и все не больно“. — „Какъ же вамъ не было страшно?“ — „Я по глазамъ вижу, съ кѣмъ изъ нихъ и когда можно играть. Пока они кусаютъ, это ничего; а вотъ какъ когти покажутъ, это ужъ нехорошо. Вотъ было съ однимъ молодымъ тигромъ: ему дали мясо, я сталъ отнимать, онъ тянетъ къ себѣ, а я не пускаю; это ему надоѣло, онъ положилъ лапу на мою руку, выпустилъ когти, укололъ меня и опять спряталъ, — дескать, „мое терпѣнье къ концу приходитъ, берегись, брось!“ Ну, я и воспользовался совѣтомъ“.

Когда Н. А. возвратился въ Петербургъ, исторія его плѣна была на устахъ у всѣхъ, онъ сталъ героемъ дня, всѣ желали воспользоваться его знакомствомъ; онъ бывалъ запросто у великой княгини Елены Павловны и въ очень многихъ домахъ, но не измѣнялъ намъ, напротивъ, бо̀льшую часть свободнаго времени проводилъ у насъ. Иногда мы ходили къ нему въ академію наукъ смотрѣть его коллекціи и рисунки птицъ, поразительно хорошо исполненные имъ акварелью.

Незнакомыхъ съ нимъ близко людей Сѣверцевъ поражалъ

странностью своихъ манеръ и наружностью, которую многіе называли страшной. Н. А. дѣйствительно не былъ красивъ, а раны, полученныя при взятіи его въ плѣнъ, еще болѣе обезобразили его лицо глубокими рубцами. Голову держалъ онъ всегда внизъ и смотрѣлъ черезъ очки; ходилъ, приподнявъ плечи и какъ-то бочкомъ; говорилъ громко, отрѣзывая слова и вставляя въ рѣчь азіатскія словечки, вродѣ „джокъ", „джаманъ" или, присущія ему одному выраженія: „отнюдь", „линія такая", „похоже какъ уксусъ на колесо..." Во время рѣчи, онъ искривлялъ пальцы рукъ точно въ какой-то судорогѣ и держалъ ихъ въ такомъ положеніи, пока не кончитъ говорить. Войдетъ, бывало, въ гостиную и, издали завидѣвъ книжку журнала, ни съ кѣмъ не здороваясь, съ возгласомъ: „А! у васъ уже есть!"—садится читать, какъ будто онъ одинъ въ комнатѣ [1]). Особенно смущалась публика способомъ бесѣды Сѣверцева. Дѣло въ томъ, что Н. А. часто въ разговорѣ долго обдумывалъ заинтересовавшіе его взгляды собесѣдниковъ и, по поводу ихъ, прослѣживалъ свою собственную мысль: замолчитъ, задумается, щиплетъ свою бороду и вдругъ, послѣ долгаго времени, вытянетъ руку со скрюченными пальцами и выпалитъ своимъ зычнымъ голосомъ: „Джокъ!" или: „а это вѣдь вѣрно!"—когда разговоръ уже успѣлъ перейти на десять новыхъ тэмъ. Происходило это у него не отъ медлительности мышленія, а потому что чужое слово тутъ же зарождало въ немъ цѣлые потоки возраженій, выводовъ, которые онъ долженъ былъ развить и сгруппировать самъ въ себѣ, прежде чѣмъ сообщить слушателямъ. Вообще, онъ какъ бы въѣдался въ какую-нибудь мысль и иногда продолжалъ развивать ее еще и на другой, и на третій день.

Мнѣ Сѣверцевъ никогда не казался „безобразнымъ" или „страшнымъ",—напротивъ, я любила его выразительное лицо, освѣщенное проницательными и умными темными глазами, а его такъ называемое „оригинальничанье", его обособленность отъ другихъ людей, привлекало меня къ нему.

Мнѣ приходилось впослѣдствіи слышать, что эти „чудачества" Сѣверцева были дѣланы, были позой. Я не думаю. Можетъ быть, въ молодости онъ когда-нибудь и хотѣлъ замаскировать свою природную застѣнчивость и неловкость нѣкоторымъ оригинальничаніемъ, — это иногда бываетъ, — но въ то время, когда я знала его, онъ рѣшительно не позировалъ, оригиналь-

[1]) Читалъ Сѣверцевъ все, даже дѣтскія книжки; онъ говорилъ, что во всякой книгѣ можно найти себѣ что-нибудь полезное.

ность вошла въ его плоть и кровь, она не измѣнялась ни въ какіе моменты его жизни, даже и тогда, когда причиняла ему неудобства или страданія; а что это случалось не разъ,—мнѣ доподлинно извѣстно.

Своей разсѣянностью Сѣверцевъ давалъ поводъ къ безчисленнымъ анекдотамъ, распространителемъ которыхъ являлся главнымъ образомъ Щербина. „На дняхъ,—разсказывалъ онъ,—у нашего общаго знакомаго вдругъ въ три часа ночи звонъ. Онъ вскакиваетъ съ постели, бѣжитъ въ переднюю, думаетъ—пожаръ,—а это Сѣверцевъ! „А я,—говоритъ,—къ вамъ посидѣть пришелъ“.—„Нѣтъ ужъ, Николай Алексѣевичъ, не угодно ли полежать“! А вы слышали, какъ онъ въ Москвѣ въ чужое окно влѣзъ? Нѣтъ? Помилуйте, истинное происшествіе. Когда онъ жилъ въ Москвѣ, онъ имѣлъ обыкновеніе поздно возвращаться домой и, чтобы никого не безпокоить, влѣзалъ въ свою комнату въ окно, черезъ низенькую крышу на дворъ. Вотъ онъ поѣхалъ въ Азію, былъ въ плѣну, успѣлъ тамъ нѣсколько разъ жениться, растерять своихъ женъ и вернулся, наконецъ, въ Москву. И вотъ разъ, поздно ночью, отправляется по старой памяти на свою прежнюю квартиру, лѣзетъ по знакомому пути черезъ крышу въ открытое окно и преспокойно собирается лечь въ постель, какъ вдругъ съ нея раздается: „караулъ!“—Вѣдь чуть не до смерти испугалъ новаго жильца!.. А то, зашелъ въ церковь къ иконостасу сигару закурить, ей Богу! Видитъ огонь...“ Неистощимъ былъ Щербина въ подобныхъ разсказахъ, а Сѣверцевъ смѣялся отъ души и самъ еще прибавлялъ. Впрочемъ, онъ не оставался въ долгу и сочинялъ на „Эллина изъ Таганрога“ много эпиграммъ. Часто они по вечерамъ сражались эпиграммами другъ съ другомъ. Сѣверцевъ очень свободно владѣлъ стихотворной формой.

Нѣкоторыя черты не совсѣмъ нравились мнѣ въ Сѣверцевѣ, но онѣ стушевывались передъ крупными его достоинствами. Въ немъ было много благородства, чуткости, истинной доброты; его душа всегда понимала чужую душу, въ тяжелую минуту онъ всегда умѣлъ найти то слово, которое одно и могло принести утѣшеніе. Онъ умѣлъ дѣлить не только чужое горе, но и чужое счастье, а это—очень рѣдкое явленіе: пожалѣть ближняго въ горѣ могутъ многіе, но безкорыстно и искренно дѣлить чужую радость умѣютъ только очень хорошіе люди. И ребенкомъ, и взрослой, я никогда не боялась высказывать Н. А. всѣ свои мысли и чувства,—я знала, что онъ все пойметъ и не осудитъ напрасно.

Н. А. ничего не надо было растолковывать,—онъ понималъ съ полуслова и даже разъяснялъ вамъ самимъ вашу мысль, придавая ей такую рельефную форму, какую вы бы сами не съумѣли ей придать. Когда онъ собирался со своими размышленіями, онъ говорилъ увлекательно. Наполнявшія его голову мысли развивались по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, все богаче и богаче, вбирали въ себя все новые элементы, раскидывались массой подробностей, неожиданностей, путали разнообразіемъ, подавляли эрудиціей и, наконецъ, сливались въ выводы общіе и ясные. Образованіе, память, знаніе языковъ были послушными слугами большому и острому уму Сѣверцева, уму равно способному какъ на кропотливую работу, такъ и на широкое обобщеніе. Память у Н. А. была феноменальная: онъ могъ сказать не только гдѣ, но часто на какой страницѣ Богъ знаетъ какъ давно прочитанной книги онъ видѣлъ такое-то изреченіе или такую-то фразу.

Въ эту весну 1859-го года Сѣверцевъ собирался ѣхать въ путешествіе, и мы думали, что онъ находится уже гдѣ-нибудь въ Азіи, когда онъ вдругъ явился къ намъ въ Финляндію. Мы обрадовались, но удивились. „Линія такая вышла“,—отвѣчалъ онъ и, взглянувъ на меня, прибавилъ: „вотъ я и пріѣхалъ къ птичкѣ, которая лучше всѣхъ птицъ и Средней Азіи, и музея академіи наукъ“. Вечеромъ онъ читалъ намъ описаніе своего плѣна, дополняя статью живыми разсказами.

Сѣверцевъ былъ посланъ академіей наукъ для зоологическихъ изслѣдованій на берега Сыръ-Дарьи. Пораженіе коканцевъ, въ 1853-мъ г., такъ напугало ихъ, что, присоединившись къ отряду, посланному для рубки лѣса, Сѣверцевъ могъ надѣяться спокойно поохотиться. Сначала это удавалось; онъ, однако, гдѣ-то схватилъ лихорадку, и 26 апрѣля (1858-го года) особенно плохо себя чувствовалъ, но, подумавъ, что онъ пріѣхалъ работать, а не лежать, преоборолъ свой недугъ и въ сопутствіи своего препаратора, трехъ казаковъ и двухъ вожаковъ киргизъ отправился на охоту. Только-что онъ собирался убить интересовавшую его дикую козу, какъ вожаки сообщили, что замѣтили вооруженныхъ коканцевъ. Это было совершенно неожиданно. Сѣверцевъ предлагалъ засѣсть въ кусты и отстрѣливаться, но потерявшіе голову казаки находили лучшимъ бѣжать; Сѣверцевъ зналъ, что они не покинутъ его, но боясь взять на себя, однако, отвѣтственность за ихъ жизнь, скрѣпя сердце согласился. Казаки, давши залпъ въ сторону выскочившей изъ засады кучи коканцевъ, ускакали, а Сѣверцевъ, задержанный своимъ ране-

нымъ препараторомъ, котораго онъ спряталъ въ кустахъ, былъ застигнутъ врагами. Его сняли съ лошади на воткнутыхъ въ грудь пикахъ; одинъ изъ коканцевъ нанесъ ему ударъ шашкой по переносицѣ, вторымъ ударомъ расколоъ скуловую кость и, поваливъ, началъ рубить голову: въ нѣсколькихъ мѣстахъ разрубилъ шею и даже расколоъ черепъ, но тутъ товарищи удержали его, подняли раненаго, причемъ онъ успѣлъ схватить свою шляпу, посадили на лошадь, привязали къ стременамъ и помчали.

Взявшая въ плѣнъ Сѣверцева шайка имѣла своимъ предводителемъ молодого храбреца, красавца и щеголя джигита Дащана. Несмотря на свою изящную наружность, онъ былъ силачъ и легко разгибалъ подковы. У своихъ онъ слылъ „батыремъ“ [1]), а у русскихъ—„разбойникомъ“. Такіе предводители со своими отрядами поступали на службу къ враждующимъ между собою родамъ и проводили жизнь въ набѣгахъ и сраженіяхъ; Дащанъ былъ настоящимъ кондотьеромъ. Два раза онъ былъ пойманъ русскими, осужденъ на каторгу и два раза бѣжалъ съ дороги. Обманувъ ложнымъ слѣдомъ высланную изъ русскаго отряда погоню, онъ присоединился къ шайкѣ, схватившей Сѣверцева, и отвезъ его къ укрѣпленному мѣстечку Яны-Курганъ. Дащанъ говорилъ по-русски, ласково обращался съ плѣнникомъ, но, вмѣстѣ съ яны-курганскимъ комендантомъ, старался выспросить у него все имъ нужное. Сѣверцевъ все время соображалъ, что̀ отвѣчать, и помнилъ свои прежнія показанія. Коканцы обѣщали доставить письмо Сѣверцева въ фортъ Перовскій и освободить его за извѣстный выкупъ. Вмѣсто того, они препроводили, всего израненнаго, съ распухшими ногами отъ привязи къ стременамъ, естествоиспытателя, на какой-то полуразломанной русской телѣгѣ, въ Туркестанъ. Все это взяло нѣсколько дней времени, а раны страдальца не были даже ни разу промыты. Въ тюрьмѣ въ Туркестанѣ Сѣверцевъ испыталъ тяжкія физическія и нравственныя муки. Письмо его, какъ онъ понялъ, не было доставлено; для русскихъ онъ былъ безъ вѣсти пропавшій, о свободѣ нечего было и думать! Коканцы предлагали ему принять магометанство, что̀ значило лишиться уже всякаго покровительства русскихъ и навсегда остаться въ Туркестанѣ; за отказъ грозили посадить на колъ. Казнь эта пугала страдальца, такъ какъ онъ зналъ, что подверженные такой казни долго, иногда нѣсколько дней, мучаются, и онъ старался оттягивать

[1]) Богатырь, витязь.

подъ разными предлогами положительный отвѣтъ, надѣясь, что умретъ раньше казни отъ ранъ, которыя онъ не позволялъ лечить. „Мое положеніе,—пишетъ Сѣверцевъ,—казалось мнѣ такимъ безвыходнымъ, что я обрадовался, когда многія раны, какъ будто присохшія, открылись и стали портиться: на вискѣ, на затылкѣ, на ногахъ струпья сошли и явилось злокачественное нагноеніе и разложеніе тканей, особенно съ дурнымъ запахомъ на вискѣ. Тамъ открылась костоѣда въ расколотой скуловой кости; это мнѣ показалось гангреной, и я съ радостью сталъ ожидать смерти отъ ранъ, вслѣдствіе мнимой гангрены, и не хотѣлъ леченіемъ терять хоть этотъ способъ освобожденія". Далѣе онъ пишетъ: „Одно мнѣ было утѣшеніе—молиться, что̀ я и дѣлалъ; тутъ я на опытѣ узналъ благотворное значеніе религіи (чѣмъ мнѣ плѣнъ былъ полезенъ); она поддержала мою падавшую бодрость; безъ нея, пожалуй, вслѣдствіе инстинктивной привязанности къ жизни, хоть бы скверной, я, сдѣлавшись притворнымъ мусульманиномъ, съ напрасной надеждой убѣжать изъ плѣна, чему примѣры въ Азіи рѣдки, и теперь бы велъ въ Коканѣ такую несносную жизнь, что и подумать о ней противно, или бы сошелъ съ ума"... Послѣ усердной молитвы, я вдругъ призналъ неминуемымъ свое освобожденіе, и не смертью, а возвращеніемъ въ фортъ Перовскій... Въ тотъ же день я получилъ извѣстіе, что изъ Яны-Кургана, какъ я и предполагалъ, гонца не послали, чтобы извѣстить обо мнѣ, что туркестанскій датка [1]) о выкупѣ и слышать не хочетъ, что на освобожденіе надѣяться нѐчего,—не вѣрилъ я извѣстію и оставался при своемъ, ни на чемъ не основанномъ убѣжденіи, что буду свободенъ, и скоро. А въ это время генералъ Данзасъ уже приступалъ къ своимъ рѣшительнымъ и успѣшнымъ мѣрамъ, прекратившимъ мой плѣнъ! Какъ тутъ не подумать то, что̀ мнѣ тогда же, не зная о дѣйствіяхъ Данзаса, представилось: что этотъ крутой поворотъ мысли, эта безпричинная, противорѣчащая всѣмъ извѣстнымъ мнѣ даннымъ, сумасбродная въ ту минуту, увѣренность въ близкой свободѣ—это былъ отвѣтъ свыше на мою молитву! И сто лѣтъ проживу, а не забуду того свѣтлаго, глубокаго, отраднаго чувства, которое въ ту минуту замѣнило мучившую меня тоску. И въ слѣдующіе дни, хоть увѣренность въ близкой свободѣ порой и колебалась, но прежней безнадежности уже не было". Въ тотъ же день Сѣверцевъ позволилъ лечить свои раны; это леченіе, чисто коканское, было, однако, успѣшно. „Успокоив-

[1]) Вродѣ губернатора или намѣстника.

шись, какъ уже сказано, насчетъ своего освобожденія,—продолжаетъ Сѣверцевъ въ своей статьѣ,—я сталъ припоминать и обдумывать свои научныя наблюденія, но чаще припоминать прошлую жизнь. И тутъ плѣнъ былъ мнѣ очень полезенъ. Вырванный изъ обычной обстановки, я смотрѣлъ на себя, какъ на посторонняго, съ полнымъ безпристрастіемъ. Исчезли самообольщенія, явственнѣе говорила совѣсть; многое, казавшееся мнѣ прежде невиннымъ, теперь осуждалось въ воспоминаніи, осуждалось такъ, что и раны, и плѣнъ казались мнѣ должнымъ возмездіемъ за проступки, не подлежащіе суду юридическому, не осуждаемые общественнымъ мнѣніемъ, но осуждаемые безпристрастною совѣстью".

Послѣ твердаго отказа отъ магометанства, Сѣверцева не посадили на колъ, а оставили въ покоѣ. Дни тянулись однообразно; чтобы не терять имъ счетъ, онъ отмѣчалъ ихъ ногтемъ на стѣнѣ. Наконецъ его „credo quia absurdum" оправдалось: къ даткѣ пришло письмо, требовавшее освобожденія Сѣверцева. Оказалось, что яны-курганскій комендантъ, подъ вліяніемъ угрожающихъ словъ Сѣверцева, послалъ въ фортъ Перовскій не письмо послѣдняго, а свое собственное, гдѣ старался выгородить себя изъ участія въ его плѣнѣ. Данзасъ задержалъ посланнаго, въ два-три дня снарядилъ трехсотенный отрядъ съ пушками и двинулъ къ коканской границѣ, и тогда только отпустилъ гонца съ письмомъ къ туркестанскому даткѣ, вмѣстѣ съ извѣстіемъ о видѣнной коканцемъ и преувеличенной съ испугу поддержкѣ этого письма. Датка отправилъ Данзасу отвѣтъ съ разными условіями, но генералъ не принялъ ни посланныхъ, ни письма, а передалъ черезъ Осмоловскаго, что онъ писалъ о безусловномъ, немедленномъ освобожденіи плѣнника; а если это не будетъ тотчасъ исполнено, то Сѣверцева русскіе сами добудутъ изъ Туркестана. Походъ на Туркестанъ былъ бы со стороны Данзаса превышеніемъ власти, и его движеніе было только демонстраціей, но такъ вѣрно разсчитанной, что испуганные коканцы, задаривая Сѣверцева разноцвѣтными халатами, сами торопили его къ отъѣзду. Ужасно тяжело было больному долгое и неудобное путешествіе, но радость возвращенія въ фортъ Перовскій заставила его чувствовать себя чуть ли не здоровымъ. Плѣнъ его продолжался 31 день.

Съ ужасомъ слушали мы подробное описаніе того, что̀ знали изъ отрывочныхъ разсказовъ. „Какъ вы не истекли кровью?"—спрашивали мы.—„Раны пылью забило,—отвѣчалъ Сѣверцевъ,—а ухо у меня на кусочкѣ висѣло; я успѣлъ его приподнять, да

подъ шапку засунуть; оно у меня и приросло, только по рединѣ окошко осталось".

То, что Сѣверцевъ писалъ и разсказывалъ о возникшихъ въ плѣну религіозныхъ убѣжденіяхъ и молитвѣ, сильно подѣйствовало на меня. „Такой умный и ученый человѣкъ не можетъ же ошибаться",—наивно думала я, и мнѣ становилось легко на душѣ.

Наша дача лежала на берегу Финскаго залива около Выборга. Масса разбросанныхъ островковъ, имѣніе барона Николаи, съ живописной усыпальницей на отвѣсной гранитной скалѣ, городъ Выборгъ съ его мостомъ и стариннымъ замкомъ въ развалинахъ, весь этотъ чудесный видъ разстилался передъ нашимъ балкономъ. Съ другой стороны дома былъ чудный, дикій лѣсъ со скалами, соснами, мхами, лѣсными озерами,—такіе разнообразные лѣса бываютъ только въ Финляндіи! Птицъ, бѣлокъ было тамъ видимо-невидимо; глухари, рябчики такъ и вылетали изъ-подъ ногъ! Въ этотъ-то, глубоко уходившій въ глубь страны, лѣсъ, мы съ сестрой стремились и увлекали съ собой Н. А. При его помощи мы спускались со скалъ по крутизнамъ, перепрыгивали щели, переходили по кочкамъ болота и возвращались разрумяненныя, въ высшей степени довольныя своими подобіями опасныхъ путешествій и своимъ руководителемъ. Я пріобрѣла дурную привычку дразнить окружавшую меня молодежь, не кокетничать, конечно,—объ этомъ я не имѣла понятія,—а, просто, заставлять исполнять свои маленькіе капризы.

„О! Екатерина великомучительница!"—восклицалъ тогда Н. А., улыбаясь и качая головой.

Я нахожу, что наши друзья слишкомъ баловали меня,—это развивало во мнѣ самомнѣніе; впослѣдствіи жизнь уничтожила его во мнѣ, но не безъ ломки, и я перешла въ другую крайность, въ полное недовѣріе къ своимъ силамъ,—что, пожалуй, еще вреднѣе.

Трудно мнѣ и теперь, послѣ стольких лѣтъ, отнестись объективно къ тому, какая я была въ ранней молодости, и рѣшить, почему меня любили: лицомъ я была некрасива,—похожа на отца, но en laid,—развита неравномѣрно, характера неустановившагося, въ рѣчахъ рѣзка, но мои взгляды и мысли были искренни, наивны, восторженны, и, можетъ быть, эта нетронутая жизнью чистота и молодой задоръ могли нравиться...

Въ концѣ лѣта Мещерскій рѣшилъ, что мнѣ можно начать писать масляными красками. Это наполнило меня радостью и трепетомъ ожиданія; а когда папа, находившійся въ Петербургѣ, прислалъ мнѣ элегантный ящикъ съ красками, я обезу-

мѣла отъ восторга: я была счастлива, что этотъ подарокъ получила именно отъ него, моего великаго художника! „Завтра мы начнемъ“,—сказалъ Арсеній Ивановичъ. Онъ приготовилъ заранѣе холстъ и этюдъ, съ котораго я должна была копировать. Весь день я ни о чемъ другомъ не думала. Куда ушли гости, капризы, шалости!.. Одно то, что̀ должно было начаться завтра, было для меня важно и серьезно. На другое утро мнѣ сдѣлалось радостно и страшно... Задолго до назначеннаго часа, я забралась въ импровизированную мастерскую (кабинетъ отца) и, полна своей прежней беззавѣтной вѣры, стала на колѣни и горячо молила Бога благословить мой первый шагъ.

Когда я взяла кисти въ руки, сердце мое сильно билось, на душѣ было торжественно... Я точно въ туманѣ, издали слышала слова учителя, но помню ихъ до сихъ поръ. Я работала напряженно и, когда ушелъ Мещерскій, продолжала одна, пока не кончила этюда [1]).

Въ тотъ же вечеръ или на другой день, не помню, былъ одинъ изъ дивныхъ закатовъ, часто бывающихъ на Финскомъ заливѣ, и я, въ восторгѣ, вся заплаканная, упала на землю и молила Бога, чтобы Онъ далъ мнѣ въ жизни *одно* счастье: когда-нибудь, *разъ* только написать такой закатъ...

Ек. Юнге.

---

[1]) Этотъ маленькій этюдъ сохраняется у меня до сихъ поръ.